



ELENA LEVKIEVSKAYA

Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1462-299X>

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ТРАВМА В КРЕСТЬЯНСКИХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАРРАТИВАХ

HISTORICAL MEMORY AS A TRAUMA IN THE PEASANT AUTOBIOGRAPHIC NARRATIVES

The article is devoted to the representations in the modern Eastern Slavic peasant autobiographical narratives about 20th century history. Peasant biographies, diaries, oral peasant tales about the life are the materials of this work. Eastern Slavic autobiographical texts are based on traumatic interpretation of history. The main composition of cultural indices in such narratives about the past coincides with the collection of personal and collective disasters including revolution, Civil War, collectivization, dekulakization, repressions, Great Domestic War and postwar hunger. The article analyzes traumatic memory as such type of memory which interprets the past as a set of personal and general traumas and failures.

Keywords: oral history, biography, narrative, folk tradition, Eastern Slavs, traumatic memory

Память об историческом прошлом в традиционной культуре передается преимущественно устным путем, что определяет особенности восприятия, интерпретации и хранения исторических событий (в тех случаях, когда она фиксируется письменно, например, в крестьянских или детских дневниках и воспоминаниях, она все равно оформляется по принципам устной традиции). Представление о памяти как об основной (а иногда единственной) форме хранения исторической информации и одновременно основной единице членения исторического времени находит воплощение в устойчивых выражениях типа: «на моей памяти (было)», «не при моей памяти», которые указывают, к какому

времени относится описываемое событие. В подобных выражениях «память» синонимична слову «век» (в значении «жизнь»): «Это было на моей памяти» — «Это было на моем веку». «Смысловое сближение *жизни* и *памяти* происходит в ситуации, когда о человеке говорят как о представителе своего времени, свидетеле, очевидце событий. Для свидетельствования необходимы, как минимум, два условия: *жить* и *помнить*»¹. Таким образом, основная единица членения времени в устной истории — «на нашей памяти» — время живущего поколения, оно подвергается историческому осмыслению и членению. Все, что было до «нашей памяти», выводится за рамки актуально воспринимаемого времени.

Материалами для данной статьи послужили устные рассказы о своей жизни восточнославянских крестьян, в частности, публикации полевых материалов из ряда восточнославянских ареалов².

Измерение истории человеческой жизнью — ключевая особенность восприятия исторического времени в «наивной» картине мира, поскольку в отличие от официальной истории здесь носителем исторической информации является индивидуальная память. Как заметил Патрик Хаттон, описавший память как среду освоения и отражения исторического прошлого:

устная культура является средой существования живой памяти. Прошлое существует постольку, поскольку оно продолжает удерживаться в живой памяти, а помнят о нем до тех пор, пока оно служит потребностям настоящего³.

Наиболее важная функция памяти — селективная, ее избирательность приводит к тому, что прошлое в «наивной» картине мира предстает не общим потоком событий, следующих друг за другом во времени, но «особым образом селективными эпизодами», между которыми «обозначена пустота или

¹ Н.Г. Брагина, *Память в языке и культуре*, Языки славянских культур, Москва 2007, с. 213.

² В.В. Баранова, *Рассказы современных крестьян о прошлом и настоящем // Традиция в фольклоре и литературе*, ред. М.Л. Лурье, Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 2000, с. 252–257; Е.Н. Разумовская, *60 лет колхозной жизни глазами крестьян*, «Звенья» 1991, т. 1, с. 113–162.

³ П.Х. Хаттон, *История как искусство памяти*, перев. В.Ю. Быстров, Издательство «Владимир Даль», Санкт-Петербург 2003, с. 62.

пропуски»⁴. Какие же события из истории XX века осмысляются как релевантные и подлежат селекции в исследуемых текстах? Прежде всего, в членении времени, связанном с личным опытом носителя традиции, существует универсальная оппозиция: время делится на «раньше» и «теперь» («старая жизнь» — «наше время»/«нынче»). Данная антитеза немислима без оценочной квалификации этих основных периодов времени.

В рассказах о прошлом и настоящем положительно оценивается прошлое, при чем эта оценка является базовой для текстов такого рода, так что упоминание о позитивных моментах в настоящем или негативных в прошедших, как правило, не изменяют изначальной модальности⁵.

«Раньше» обычно связывается с периодом молодости информанта, с которым соотносятся упорядоченные правила бытия и нормы миропорядка, разрушенные в нынешней жизни, в том, что называется «теперь». Под «теперь» подразумевается актуальное настоящее, часто содержащее мотивы эсхатологической «порчи мира» и проявляющее признаки «последних времен»:

Раньше лапти носили, да песни играли, а теперь сапоги носят и телевизор смотрят. И кругом все несчастливые: видно деньги счастья не дают. Раньше люди чувствовали Бога, чувствовали и совесть. Не стало Бога — не стало и совести⁶.

Конкретные границы прошлого, связанные с «раньше», достаточно подвижны и зависят от того, что является значимым для рассказчика, а также от того, в какой момент актуального настоящего ведется рассказ. В одних случаях под «раньше» понимается дореволюционный период времени, противопоставленный советскому «теперь»:

Видишь, в старину было все продумано, одно к одному. А после колхозов все наше выводить стали. Все в землю закопали: как мы гуляли, как мы танцевали, как мы пели. Правительству наши песни не нужны⁷.

В других случаях «раньше» осмысляется как советское время, противопоставленное постсоветскому «теперь»:

⁴ Н. Г. Брагина, *Память в языке...*, с. 159.

⁵ В. В. Баранова, *Рассказы современных...*, с. 67.

⁶ Е. Н. Разумовская, *60 лет...*, с. 131.

⁷ Там же, с. 117.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ...

Вот мы, к примеру, как жили при коммунистах, все-таки жить можно было, а сейчас — черт его знает. Все разваливают, все зажимают. Вот деревня — она помрет, ничего тут не останется. Страшней войны дело пошло⁸.

Кроме обобщенной оппозиции «раньше»–«теперь» личная память делится на более дробные отрезки времени — их границами служат особо отмеченные точки, которые Уильям Вордсворт называл «пятнами времени» — это метафора «для тех мнемонических мест, которыми отмечены этапы его проникновения в историю собственной жизни»⁹. То, что Вордсворт называл «пятнами времени», в терминологии современных исследований носит название культурных индексов. Понятие культурного индекса связано с эгоцентричным восприятием автобиографического времени. В его основе лежит личный опыт жизни. Восприятие личного времени человеком устной традиции отличается от его восприятия человеком письменной культуры. Человек письменной культуры, ведущий дневник и описывающий в нем последовательно события, которыми наполнена его жизнь день за днем, воспринимает жизнь как непрерывно текущее время, члениющееся на равные временные промежутки календарного времени — дни, недели, месяцы, года. В таком видении жизни не бывает «пустого» времени, не заполненного событиями, не интересного для фиксации и рефлексии.

Для человека устной культуры, не привыкшего отслеживать текущую жизнь и подвергать ее ежедневной рефлексии, автобиографическое время воспринимается иначе — оно не в одинаковой степени заполнено событиями, в нем маркируются и подлежат экспликации и рефлексии только определенные точки — культурные индексы, т.е. такие отмеченные точки в памяти, которые меняют вектор ее движения, формируют память, наполняя ее воспоминаниями о тех или иных событиях:

Память не только трансформирует время, но также моделирует апроприацию человеком личного и коллективного прошлого. Время обозначается в памяти через выделенные события и сюжеты — культурные индексы — в личной жизни (личная память) и в жизни социума (общественная память). Культурные индексы вербализуются в рассказах о прошлом, в воспоминаниях и мемуарах. Они проявляют нарративную функцию памяти [...]. Структурирующая прошлое система культурных индексов — это своего рода

⁸ В. В. Баранова, *Рассказы современных...*, с. 68.

⁹ П. Х. Хаттон, *Память как искусство...*, с. 147.

личная анкета индивида. В нее включены: воспоминания о детстве, о первой любви, об учебе и учителях, о счастливых знаковых событиях (свадьба, рождение ребенка), о личных травмах (разлука, развод, несчастья), о коллективных травмах (война, катастрофа, стихийное бедствие и др.)¹⁰

Можно указать на определенные различия в наборе культурных индексов в «мужском» и «женском» автобиографическом тексте. Для женщины основными культурными индексами личного порядка являются замужество, а также события в судьбе мужа и близких. Женщина чаще мужчины осмысляет свою жизнь через жизнь своей семьи, а события в жизни мужа и близких как свои собственные события:

Я была одна дочка у бабки с маткой. [...] Жених через дорогу жил, на хуторе [...]. Посватался и пошел на войну. Три года в плену отбыл, у пана там работал. Как отпустили домой, так мы и поженились. А тады немног — год отжили — и опять взяли на войну... А тады, милки, как уже стала ета власть, так тады нас раскулачили... А хозяина забрали на «черного ворона». У нас десять детей было — так пять штук помёрло, пока хозяина не было. А тады хозяин как-то пришел с «черного ворона», как-то остался, не отправили яго. Так ён на войне был, инвалидом вернулся. И сынок был на войне. Под Ригой яго ранило — и ослеп...¹¹.

В «женском» рассказе о прошлом жизнь делится на время до замужества и после замужества: рождение детей, смерть мужа, смерть детей. Нередко рассказ о прошлом начинается с момента замужества как своеобразного момента женской инициации, начала «настоящей», полноценной, взрослой жизни. Время до замужества нередко воспринимается как прелюдия к жизни: «Я тады уж замуж зайшла, так нас не тронули, потому как мой Василий в 17-м году как раз в Питере *миколаевским* солдатом служил и с колокольни в жандармов стрелял»¹².

В «мужском» нарративе рассказчик предстает как самостоятельный субъект действия, а его жизнь обычно осмысляется не через семью, а через систему активных действий, в которых реализуется «я», самостоятельная личность. В «мужском» автобиографическом тексте в число культурных индексов включаются: возраст, с которого человек начинает себя помнить (обычно он совпадает с возрастом, с которого начинает работать), учеба,

¹⁰ Н. Г. Брагина, *Память в языке...*, с. 166.

¹¹ Е. Н. Разумовская, *60 лет...*, с. 120.

¹² Там же, с. 115.

служба в армии (война), репрессии. Ср. набор культурных индексов в рассказе о жизни С.А. Грибачева, 1891 г.р. (д. Пристань Усвятского р-на Псковской обл.):

Я родился в Шершнях в бедной семье. В голодные времена с матерью по людям ходил (нищенствовал значит) [...]. В Германскую войну золотой крест дали. А тут как раз революция. Крест я на революцию пожертвовал, мне документ за него выдали. После Гражданской вернулся в деревню, и мне как бедняку выделили участок земли на болоте. Своими руками его осушал и пни выкорчевывал. Работал день и ночь, поднял хозяйство, женился. В колхоз не пошел. К 37-му году у меня было уже 4 коровы. Тут меня и раскулачили. Обозвал я по-матерному председателя, а он сразу машину вызвал: «Забирайте его — он обругал партию и правительство!» В усвятской тюрьме держали на хлебе и воде. Присудили 4 года по статье 58. За свои труды и попал, за то, что болото раскопал, лес рассек да хорошим хозяином был. В Ухте железную дорогу строил. Там люди мёрли, как мухи, а на их место новых привозили. За 800 г. хлеба (давали и по 300 г.) никто добровольно прокладывать железную дорогу не пойдет — вот государство и нашло выход, принудиловку эту. Когда срок вышел, остался я на стройке вольным. В армию меня не взяли по здоровью. Весной 45-го на общем перекуре кто-то сказал, что немцев с лица земли сотрут, а я возразил: «Это Гитлеру конец придет, а немцы останутся — куда ж народ денется?» За это получил еще 10 лет. В 56-м году вернулся в колхоз. Теперь получаю пенсию 22 рубля: 10 лагерных и 12 колхозных¹³.

«Мужской» текст отличается от «женского» по двум основным параметрам: особенностям восприятия собственной личности и личной судьбы и способам членения времени. В «женском» нарративе личное «я» воплощается в совокупном «мы» («нас раскулачили», «у нас десять детей было») в противоположность «мужскому» нарративу, где рассказчик сосредоточен только на личной судьбе, воспринимая ее сугубо индивидуально. С.А. Грибачев выстраивает автобиографию как рассказ о собственной деятельности (воевал, награжден Георгиевским крестом, поднял хозяйство на непригодном участке земли, был несправедливо осужден и т.д.). Он только упоминает о своей женитьбе, поскольку это входит в сферу полноценного мужского поведения, но ничего не сообщает о судьбе жены и детей, описывая лишь превратности собственной жизни («меня раскулачили», «я строил»), тогда как Н.П. Базелева практически ничего не сообщает лично о себе, поскольку не осознает свою собственную жизнь как самостоятельную ценность, достойную описания

¹³ Там же, с. 135.

и отделенную от судьбы других членов семьи — прежде всего мужа и детей. Воспоминание о своем прошлом она выстраивает как рассказ об их жизни.

Второе принципиальное отличие «женского» текста от «мужского» — способ обозначения времени. В «женском» автобиографическом нарративе гораздо чаще, чем в «мужском», время обозначается через систему личных и исторических событий, например: «как отпустили домой, так мы и поженились»; «а тады, милки, как уже стала ета власть, так тады нас раскулачили». В «мужском» воспоминании о прошлом гораздо чаще встречаются конкретные даты, что ближе к официальному счету времени: «к 37-му году»; «весной 45-го»; «в 56-м вернулся в колхоз».

Нарративная функция памяти, о которой упоминает Наталья Брагина, лежит в основе создания тех или иных структур, культурных моделей, по которым воспроизводится и выстраивается рассказ о прошлом. Личное, автобиографическое прошлое, безусловно, индивидуально для каждого человека. Но культурная модель, т.е. то, что общественным сознанием считается важным для удержания в памяти и последующего воспроизведения в рассказе, задается коллективной памятью и, в конечном счете, определяется особенностями национального сознания.

Вопрос, который прямо относится к проблеме членения исторического времени в устной традиции, касается того, как культурные индексы, служащие рубежами отдельных временных периодов, обозначаются в речи рассказчиков, т.е. как называются вычленимые в личной памяти исторические события и отрезки времени. Наиболее частотный способ соотношения личной биографии с историей — через соотношение с «коллективными травмами» — революцией, раскулачиванием, войной и т.д. Ср.: «А после колхозов все наше выводить стали»¹⁴; «Как в колхоз пошли, так и петь перестали — кинули свое милое, пошли искать постылое»¹⁵.

Центральным и наиболее трагическим событием, вокруг которого в устной традиции структурируется история XX в., является Великая Отечественная война, разделяющая жизнь на «до» и «после». В отличие от всех прочих войн, всегда имеющих обозначение (Германская, Царская или Николаевская, Гражданская и т.д.), она называется просто — «война», поскольку в силу

¹⁴ Там же, с. 117.

¹⁵ Там же, с. 119.

своей онтологичности в сознании народа не нуждается в дополнительных дескрипциях и уточнениях: «До войны в Усвяте был конский базар»¹⁶.

В одном и том же рассказе один и тот же отрезок времени может конкретизироваться и называться по-разному в зависимости от того, что является в данный момент значимым для рассказчика — событие личной жизни, точное определение времени или его оценочная характеристика, осуществляемая в виде дескрипции: «Меня отдавали [замуж — Е.Л.] в 1914-м — как раз *Миколаевскую* объявили»¹⁷; «В 1930 году обе церкви раскопали и началась эта суматоха — *раскулачивание*»¹⁸; «В 1922 году переселились на хутор, 14 гектар земли нам дали, 13 годов на хуторе прожили, потом — гроб! — колхозы. [...] Сперва было нехорошо, а тады привыкать стали, разживаться — бах! — война...»¹⁹.

Такой способ обозначения временных периодов можно назвать эпонимическим:

Назывная, или эпонимическая, концепция исторического времени [...] имела дело не с количественными, а с качественными характеристиками, хотя и неглубокими. Хронологическую определенность такое обозначение давало только явлениям, территориально близким к эпониму, культурно связанным с ним, на остальные же эта определенность не распространялась²⁰.

Эпонимический способ членения исторического времени этноцентричен и рассчитан на тот круг адресатов, который обладает единым с рассказчиком фондом культурных воспоминаний. Например, в рамках официальной истории мы можем обозначить Первую мировую войну как историческое событие 1914–1919 гг. Именованная эта война как «николаевской», «миколаевской» или «царской», принятое в народной традиции восточных славян и актуализирующее имя последнего российского императора, выводит это событие из рамок всеобщей истории

¹⁶ Там же, с. 124.

¹⁷ Там же, с. 131.

¹⁸ Там же, с. 149.

¹⁹ Там же, с. 152.

²⁰ Л. С. Клейн, *Концепция времени в традиционной культуре // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции*, ред. А. Б. Островский, Лань, Санкт-Петербург 1999, с. 6–7.

и описывает его с позиции национальной истории. Эпонимический способ членения истории имеет когнитивную природу, поскольку одновременно является способом организации исторического знания в традиционной культуре, «сворачивающим» это знание до маркирующего его имени.

В основе восточнославянских автобиографических рассказов о прошлом лежит травматическая интерпретация истории — память как совокупность индивидуальных и коллективных травм. В восточнославянских нарративах о прошлом основной состав культурных индексов — точек деления времени — совпадает с набором личных и коллективных катастроф, включающих смерть близких, революцию, Гражданскую войну, коллективизацию и раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, послевоенный голод и разруху, распад страны и хаос 90-х гг. Такой тип памяти, когда прошлое представляется как череда личных и общенациональных травм и неудач принято называть травматической памятью, а тексты, воплощающие в себе травматический опыт, — «травматическими нарративами» (*narratives of trauma*).

В большинстве восточнославянских рассказов о прошлом культурные индексы, через которые вербализуется историческая память, представляют собой цепь личных и коллективных травм, которые и разделяют историческое время на определенные промежутки. Личная судьба оказывается встроенной в исторический процесс. В подобных рассказах событие личной биографии может в одних случаях восприниматься как «точка бифуркации», как одномоментное действие, маркирующее время, своеобразная зарубка на шкале времени: «*Как пошли колхозы, они стали коммунисты*»; «*Как немцев прогнали, снова колхозы поставили*»; «*А тады, милки, как уже стала эта власть, так тады нас раскулачили*». В других случаях событие может восприниматься в своей длительности — как процесс, занимающий определенный хронологический промежуток:

Вы ж, можа, не знаете, что это — раскулачили? Которые хозяины хорошие, тых и *раскулачивали* — *забирали* у них все. И у нас усе *забрала* [в смысле «власть забрала» — Е.Л.], все-все, до шуминки, и вот ету хату. Одних детей токо кинули и саму. А хозяина забрали на «чорного ворона»²¹.

²¹ Е. Н. Разумовская, *60 лет...*, с. 120.

История как совокупность индивидуальных и коллективных травм выстраивается и структурируется по образцам архаичных фольклорных жанров, закрепленных в народном сознании в виде своеобразной мета-памяти — имплицитных моделей, на основе которых отбираются и воспроизводятся в нарративах те или другие моменты жизни. Структура *narratives of trauma* в восточнославянской устной культуре поддерживается мета-памятью, жанровыми образцами, существующими в традиции. Эти воспоминания можно назвать ламентациями — плачами, жалобами, сожалениями о своей жизни. В русской традиции такие ламентации воплощаются в фольклорном жанре «плач с кукушкой», исполнение которого приурочено ко времени кукования кукушки²². Женщина, услышав кукование кукушки, выходит в лес или в поле и исполняет ритмизованное причитание, в котором выплакивает свое горе:

Первое мое горе — как родителей раскулачили. [...] Как батьку забрали да мамку выселили, так я, как пташечки прилетят, все голосила. Выйдешь ў поле и начинаешь: «А ше-ра ку-ку-шечка! / А ко-ли ты по-для-те-ла к моей го-ло-вуш-ке дю-же бли-зёшенько? / А ти не моя жалкья родителка под-ля-те-ла с чуже-дал(и)-ней сто-ро-нуш-ки?» [...] Как возьмешься голосит, всё горе соберется. [...] Второе горюшко — задарма робили всю жизнь. Трудодней робили мног, а получали ничох. [...] Третье наше горе — из трех затьёв двое никудышных: пьют и женок бьют. [...] Тольки и остаётся, в поле гонявши, жизнь свою обидную песнями облегчать²³.

Рассказ о прошлом помимо чисто биографических деталей и интерпретации их в определенном ключе (как горестной, несчастной жизни) содержит и закрепленную в традиции жанровую форму выражения горестных переживаний в виде так называемого «плача с кукушкой», в которой «травматическая память» воплощается в архаичном фольклорном жанре. Одна и та же культурная информация — представление о прошлом и осмысление собственной судьбы в устной традиции может воплощаться как в виде автобиографического нарратива, так и в виде ритмически организованного фольклорного текста — «голошений на случай», содержащего перечисление всех жизненных потерь и несчастий, которые довелось пережить автору текста:

²² Е. Н. Разумовская, *Плач с «кукушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья // Славянский и балканский фольклор*, ред. Н. И. Толстой, Наука, Москва 1984, с. 160–178.

²³ Е. Н. Разумовская, *60 лет...*, с. 115.

Мое велико горюшко, что сынок Вася погиб. Восемнадцать годков ему было, как на войну взяли. Один он у меня сынок был. [...] Прислал письмо, что мама, меня теперь пулеметчиком поставили. [...] Ну и всё. Через несколько время мне извещение: погиб Вася. [...] Весной, как кукушка с того берега из леса заголотит, пойду к озеру за баньку, там схоронюсь и поговорю с ней... Ну, милая кукушечка, ну шерая! Ну ты ж прилятела с таким жалким голосочком. [...] Сядь ко мне поближе да Расскажи мне: может его сынок мой прилетел, а не кукушечка²⁴.

Такая культурная модель отбора и интерпретации определенных событий, которую условно назовем «травматической историей», является единой как для рассказов о личном прошлом, так и для психолого-культурных механизмов трансляции горя и фольклорных форм его выражения, закреплённых в народном сознании в виде «голошений на случай», плачей, жалоб, ламентаций. Закреплённые в коллективной памяти архаические фольклорные структуры поддерживают определенный тип культурной модели, по образцу которой осмысливается и интерпретируется личная судьба в рассказах о прошлом. В ряде примеров рассказ о прошлом может содержать элементы плача (например, «плача с кукушкой», похоронного плача, плача по рекрутам, плача при проводах мужа на войну) или прямо перетекать в него. Коллективная культурная модель, которая лежит в основе воспоминаний о личном прошлом, задает весьма жесткую и однозначную интерпретацию своей жизни как череды «травм» и поражений. Эта культурная модель «травматической истории» имеет весьма древние корни и явно противостоит как советской официозной модели как череды непрерывных побед советского народа, мужественно преодолевающего временные трудности на пути к его главной цели — победе коммунизма, так и западной (прежде всего — американской) тенденции восприятия личной жизни как непрерывного движения по пути к успеху, как реализации в собственной биографии большой «американской мечты».

REFERENCES

- Baranova, Vlada Vyacheslavovna. "Rasskazy sovremennykh krest'yan o proshlom i nastoyashchem." (Ed.) Lur'ye, Mikhail Lazarevich. *Traditsiya v fol'klоре i literature*. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo

²⁴ Там же, с. 119.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ...

- univeristeta, 2000. 66–76 [Баранова, Влада Вячеславовна. “Рассказы современных крестьян о прошлом и настоящем.” (Ред.) Лурье, Михаил Лазаревич. *Традиция в фольклоре и литературе*. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2000. 66–76].
- Bragina, Natal'ya Georgiyevna. *Ramyat' v yazyke i kul'ture*. Moskva: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2007 [Брагина, Наталья Георгиевна. *Память в языке и культуре*. Москва: Языки славянских культур, 2007].
- Hutton, Patrick H. *Istoriya kak iskusstvo ramyati*. Transl. Bystrov, Vladimir Yur'yevich. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo “Vladimir Dal’”, 2003 [Хаттон, Патрик Х. *История как искусство памяти*. Перевод Быстров, Владимир Юрьевич. Санкт-Петербург: Издательство “Владимир Даль”, 2003].
- Kleyn, Lev Samuilovich. “Kontseptsiya vremeni v traditsionnoy kul'ture.” (Ed.) Ostrovskiy, Aleksandr Borisovich. *Vremya i kalendar' v traditsionnoy kul'ture. Tezisy dokladov Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii*. Sankt-Peterburg: Lan', 2009. 3–9 [Клейн, Лев Самуилович. “Концепция времени в традиционной культуре.” (Ред.) Островский, Александр Борисович *Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции*. Санкт-Петербург: Лань, 1999. 3–9].
- Razumovskaya, Elena Nikolaevna. “Plach s «kukushkoy’. Traditsionnoye neobryadovoye golosheniye russko-belorusskogo pogranichiya.” (Ed.) Tolstoy, Nikita P'yich. *Slavyanskiy i balkanskiy fol'klor*. Moskva: Nauka, 1984. 160–178 [Разумовская, Елена Николаевна. „Плач с «кукушкой». Традиционное необрядовое голошение русско-белорусского пограничья.” (Ред.) Толстой, Никита Ильич. *Славянский и балканский фольклор*. Москва: Наука, 1984. 160–178].
- Razumovskaya, Elena Nikolaevna. “60 let kolkhoznoy zhizni glazami krest'yan.” *Zven'ya* 1991, № 1. 113–162. [Разумовская, Елена Николаевна. “60 лет колхозной жизни глазами крестьян.” *Звенья* 1991, № 1. 113–162].